

Лев Николаевич Толстой

**Севастополь в августе
1855 года**



Лев Николаевич Толстой
Севастополь в августе 1855 года

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21119598

Лев Николаевич Толстой

Севастополь в августе 1855 года

1

Вконце августа по большой ущелистой сева­сто­польской дороге, между Дуванкой и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).

В повозке — спереди, на корточках, сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади, на узлах и выюках, покрытых попонкой, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напряжены, так называемой талии — перехвата в середине туловища — у него не было, но и живота тоже не было, напротив — он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром.

Лицо его было бы красиво, ежели бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие, крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, — но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардированье идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполнен-

ный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозочка должна была остановиться, и офицер, щурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.

— А это с нашей роты солдатик слабый, — сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с ними.

На повозке спереди сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку на весьма грязной рубахе, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две исхудалые руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочалы мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотившись руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий

офицер.

— Должников! — крикнул он.

— Я-о, — отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.

— Когда ты ранен, братец?

Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.

— Здравия желаем, вашбродие! — тем же отрывистым басом крикнул он.

— Где нынче полк стоит?

— В Севастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбродие!

— Куда?

— Неизвестно... должно, на Сиверную, вашбродие! Нынче, вашбродие, — прибавил он протяжным голосом и надевая шапку, — уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат; но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.

Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уже делали

то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата; он был неглуп и вместе с тем талантлив, хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных, кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал. — Как же! очень буду слушать, что Москва болтает! — пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования. — Смешная эта Москва... Пошел, Николаев, трогай же... Что ты заснул! — прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.

Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозочка покатилась рысью.

— Только покормим минутку и сейчас, нынче же, дальше, — сказал офицер.

Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванкой, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге.

Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.

— Далеке идете, землячок? — сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился около них.

— В роту идем из губернии, — отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. — Мы вот почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слышали, господа?

— В городе, брат, стоит, в городе, — проговорил другой, старый фурштатский солдат, копавший с наслаждением складным ножом в неспелом, белёсом арбузе. — Мы вот только с полдён оттеле идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь, в сене, денек-другой пролежи — дело-то лучше будет.

— А что так, господа?

– Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя! – И говоривший махнул рукой и поправил шапку.

Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял прижженный табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.

– Никто, как бог, господя! Прощенья просим! – сказал он и, встряхнув за спиною мешок, пошел по дороге.

– Эх, обождал бы лучше! – сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

– Все одно, – пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок, – видно, тоже харбуза купить повечерять; вишь, что говорят люди.

Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который перебранивался с следовавшими за ним двумя офицерами.

— И не то что трое суток, и десятеро суток подождете! и генералы ждут, батюшка! — говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих, — а я вам не запрягусь же.

— Так никому не давать лошадей, коли нету!.. А зачем дал какому-то лакею с вещами? — кричал старший из двух офицеров, с стаканом чаю в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и ты сказать смотрителю.

— Ведь вы сами рассудите, господин смотритель, — говорил с запинками другой, молоденький офицерик, — нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж... вы, значит, не уважаете офицерского звания.

— Вы всегда испортите! — перебил его с досадой старший. — Вы только мешаете мне; надо уметь с ними говорить. Вот он и потерял уважение. Лошадей сию минуту, я говорю!

— И рад бы, батюшка, да где их взять-то?

Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить:

— Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда)... дайте только до конца месяца дожить — и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу! Пусть делают как хотят, когда такие распоряжения: на всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка сена уж третий день лошади не выдали.

И смотритель скрылся в воротах.

Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.

— Что ж, — совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным, — уж три месяца едем, подождем еще. Не беда — успеем.

Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, навверное, сделанном из женского капота, доливал чайник; человека четыре таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты: один из них,

подложив под голову какую-то шубу, спал на диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, по тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки; и по одному тому, как они смотрели на других и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры и что они довольны этим. Не то чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами, — сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека четыре денщиков — одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого; но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему, и главное, напомнили, что брат его, тоже из корпуса, на днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: «Осадить его, ежели бы он вздумал что-нибудь сказать», — перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только

не любил, но был возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих двух офицеров.

– Однако это ужасно как досадно, – говорил один из молодых офицеров, – что так уже близко, а нельзя доехать. Может быть, нынче дело будет, а нас не будет.

В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, набежавшем на молодое лицо этого офицера в то время, как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово.

Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него.

– Поспееете еще, поверьте, – сказал он.

Молодой офицерик с уважением посмотрел на исхудалое лицо безрукого, неожиданно просветлевшее улыбкой, замолчал и снова занялся чаем. Действительно, в лице безрукого офицера, в его позе и особенно в этом пустом рукаве шинели выражалось много этого спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: «Все это прекрасно, все это я знаю и все могу сделать, ежели бы я захотел только».

– Как же мы решим, – сказал снова молодой офицер своему товарищу в архалуке, – ночуем здесь или поедем на своей лошади?

Товарищ отказался ехать.

– Вы можете себе представить, капитан, – продолжал раз-

ливавший чай, обращаясь к безрукому и поднимая ножик, который уронил этот, — нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе, мы и купили сообща лошадь в Симферополе.

— Дорого, я думаю, с вас содрали?

— Право, не знаю, капитан: мы заплатили с повозкой девятью рублями. Это очень дорого? — прибавил он, обращаясь ко всем и к Козельцову, который смотрел на него.

— Недорого, коли молодая лошадь, — сказал Козельцов.

— Не правда ли? А нам говорили, что дорого... Только она хромая немножко, только это пройдет, нам говорили. Она крепкая такая.

— Вы из какого корпуса? — спросил Козельцов, который хотел узнать о брате.

— Мы теперь из Дворянского полка, нас шесть человек; мы все едем в Севастополь по собственному желанию, — говорил словоохотливый офицерик, — только мы не знаем, где наши батареи: одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что в Одессе.

— А в Симферополе разве нельзя было узнать? — спросил Козельцов.

— Не знают... Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию: ему грубостей наговорили... можете себе представить, как неприятно!.. Угодно вам готовую папироску? — сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу.

Он с каким-то подобострастным восторгом услуживал ему.

— А вы тоже из Севастополя?—продолжал он. — Ах, боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали об вас, обо всех героях! — сказал он, обращаясь к Козельцову, с уважением и добродушной лаской.

— Как же, вам, может, назад придется ехать? — спросил поручик.

— Вот этого-то мы и боимся. Можете себе представить, что мы, как купили лошадь и обзавелись всем нужным — кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые, — у нас денег совсем не осталось, — сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища, — так что ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть.

— Разве вы не получили подъемных денег? — спросил Козельцов.

— Нет, — отвечал он шепотом, — только нам обещали тут дать.

— А свидетельство у вас есть?

— Я знаю, что главное — свидетельство; по мне в Москве сенатор один — он мне дядя, — как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам мне дал. Так дадут так?

— Непременно дадут.

— И я думаю, что, может быть, так дадут, — сказал он таким тоном, который доказывал, что, спрашивая на тридцати станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он

уже нікому не верил хорошенко.

– Да как же не дать, – сказал вдруг офицер, бранившийся на крыльце с смотрителем и в это время подошедший к разговаривающим и обращаясь отчасти и к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям. – Ведь я так же, как и эти господа, пожелал в действующую армию, даже в самый Севастополь просился от прекрасного места, и мне, кроме прогонов от П., сто тридцать шесть рублей серебром, ничего не дали, а я уж своих больше ста пятидесяти рублей издержал. Подумать только, восемьсот верст третий месяц еду. Вот с этими господами второй месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги. Ну, а коли бы не было их?

– Неужели третий месяц? – спросил кто-то.

– А что прикажете делать, – продолжал рассказывающий. – Ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не просился от хорошего места; так, стало быть, я не стал бы жить по дороге, уж не оттого, чтоб я боялся бы... а возможности никакой нет. В Перекопе, например, я две недели жил; смотритель с вами и говорить не хочет, – когда хотите поезжайте; одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж, верно, так судьба... ведь я бы желал, да, видно, судьба; я ведь не оттого, что вот теперь бомбардированье, а, видно, торопись не торопись – все равно; а я бы как желал...

Этот офицер так старательно объяснял причины своего

замедления и как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит. Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел, и голос его оборвался, когда безрукий офицер, который был в том же полку, сказал ему, что в эти два дня у них одних офицеров семнадцать человек выбыло.

Действительно, офицер этот в настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя шесть месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытали многие и прежде и после него. Он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное спокойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более – патриотизмом.

Он пожертвовал этому чувству весьма многим – и обжитым местом, и квартиркой с мягкой мебелью, заведенной осьмилетним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу, – он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах. Через два месяца после подачи прошения он по команде получил запрос, но будет ли он требовать вспомоществования от правительства. Он отвечал отрицательно и терпеливо продолжал ожидать определения, хотя патриотический жар уже успел значительно остыть в эти два месяца. Еще через два месяца он получил запрос, не при-

надлежит ли он к масонским ломам, и еще подобного рода формальности, и после отрицательного ответа, наконец, на пятый месяц вышло его определение. Во все это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства новым, которое является при каждой перемене положения, успели убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в действующую армию. Когда же он очутился один с изжогой и запыленным лицом, на пятой станции, на которой он встретился с курьером из Севастополя, рассказавшим ему про ужасы войны, прождал двенадцать часов лошадей, — он уже совершенно раскаивался в своем легкомыслии, с смутным ужасом думал о предстоящем и ехал бессознательно вперед, как на жертву. Чувство это в продолжение трехмесячного странствования по станциям, на которых почти везде надо было ждать и встречать едущих из Севастополя офицеров с ужасными рассказами, постоянно увеличивалось и наконец довело до того бедного офицера, что из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в П., в ДуванкОй он был жалким трусом; и, съехавшись месяц тому назад с молодежью, едущей из корпуса, он старался ехать как можно тише, считая эти дни последними в своей жизни, на каждой станции разбирал кровать, погребец, составлял партию в преферанс, на жалобную книгу смотрел, как на препровождение времени, и радовался, когда лошадей ему не давали.

Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал

прямо на бастионы, а теперь еще много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Но энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем.

– Кто борщу требовал? – провозгласила довольно грязная хозяйка, толстая женщина лет сорока, с миской щей входя в комнату.

Разговор тотчас же замолк, и все бывшие в комнате устремили глаза на харчевницу. Офицер, ехавший из П., даже подмигнул на нее молодому офицеру.

– Ах, это Козельцов спрашивал, – сказал молодой офицер, – надо его разбудить. Вставай обедать, – сказал он, подходя к спящему на диване и толкая его за плечо.

Молодой мальчик, лет семнадцати, с веселыми черными глазками и румянцем во всю щеку, вскочил энергически с дивана и, протирая глаза, остановился посередине комнаты.

– Ах, извините, пожалуйста, – сказал он серебристым звучным голосом доктору, которого толкнул, вставая.

Поручик Козельцов тотчас же узнал брата и подошел к нему.

– Не узнаешь? – сказал он, улыбаясь.

– А-а-а! – закричал меньшой брат. – Вот удивительно! – и стал целовать брата.

Они поцеловались три раза, но на третьем разе запнулись, как будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?

– Ну, как я рад! – сказал старший, вглядываясь в брата. –

Пойдем на крыльцо – поговорим.

– Пойдем, пойдем. Я не хочу борщу... ешь ты, Федерсон, – сказал он товарищу.

– Да ведь ты хотел есть.

– Не хочу ничего.

Когда они вышли на крыльцо, меньшой все спрашивал у брата: «Ну, что ты, как, расскажи», – и все говорил, как он рад его видеть, но сам ничего не рассказывал.

Когда прошло минут пять, во время которых они успели помолчать немного, старший брат спросил, отчего меньшой вышел не в гвардию, как этого все наши ожидали.

– Ах, да! – отвечал меньшой, краснея при одном воспоминании. – Это ужасно меня убило, и я никак не ожидал, что это случится. Можешь себе представить, перед самым выпуском мы пошли втроем курить, – знаешь эту комнатку, что за швейцарской, ведь и при вас, верно, так же было, – только, можешь вообразить, этот каналья сторож увидал и побежал сказать дежурному офицеру (и ведь мы несколько раз давали на водку сторожу), он и подкрался; только как мы его увидали, те побросали папироски и драло в боковую дверь – а мне уж некуда, он тут мне стал неприятности говорить, разумеется, я не спустил, ну, он сказал инспектору, и пошло. Вот за это-то поставили неполные баллы в поведение, хотя везде были отличные, только из механики двенадцать, ну и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвардию, да уж я не хотел и просился на войну.

– Вот как!

– Право, я тебе без шуток говорю, все мне так гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь ежели здесь счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии: там в десять лет в полковники, а здесь Тотлебен так в два года из подполковников в генералы. Ну, а убьют, – так что ж делать!

– Вот ты какой! – сказал брат, улыбаясь.

– А главное, знаешь ли что, брат, – сказал меньшей, улыбаясь и краснея, как будто собирался сказать что-нибудь очень стыдное, – все это пустяки; главное, я затем просился, что все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мне хотелось быть, – прибавил он еще застенчивее.

– Какой ты смешной! – сказал старший брат, доставая папиросницу и не глядя на него. – Жалко только, что мы не вместе будем.

– А что, скажи по правде, страшно на бастионах? – спросил вдруг младший.

– Сначала страшно, потом привыкаешь – ничего. Сам увидишь.

– А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.

– Бог знает.

– Одно только досадно, – можешь вообразить, какое несчастье: у нас ведь дорогой целый узел украли, а у меня

в нем кивер был, так что я теперь в ужасном положении и не знаю, как я буду являться. Ты знаешь, ведь у нас новые кивера теперь, да и вообще сколько перемен; все к лучшему. Я тебе все это могу рассказать... Я везде бывал в Москве.

Козельцов-второй, Владимир, был очень похож на брата Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у него были те же русые, но густые и выющиеся на висках; на белом нежном затылке у него была русая косичка — признак счастья, как говорят нянюшки. По нежному белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него открытое и светлее, что особенно казалось оттого, что они часто покрывались легкой влагой. Русый пушок пробивал по щекам и над красными губами, весьма часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые блестящие зубы. Стройный, широкоплечий, в расстегнутой шинели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотившись на перила крыльца, с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом, — это был такой приятно-хорошенький мальчик, что все бы так и смотрели на него. Он чрезвычайно рад был брату, с уважением и гордостью смотрел на него, воображая его героем; но в некоторых отношениях, именно в рассуждении вообще светского образования, которого, по правде сказать, он и сам не имел, умения говорить по-французски, быть в

обществе важных людей, танцевать и т. д., — он немножко стыдился за него, смотрел свысока и даже хотел образовать его. Все впечатления его еще были из Петербурга, из дома одной барыни, любившей хорошеньких и бравшей его к себе на праздники, и из дома сенатора в Москве, где он раз танцевал на большом бале.

Наговорившись почти досыта и дойдя наконец до того чувства, которое часто испытываешь, что общего мало, хотя и любишь друг друга, — братья помолчали довольно долго.

— Так бери же свои вещи и едем сейчас, — сказал старший.

Младший вдруг покраснел и замялся.

— Прямо в Севастополь ехать? — спросил он после минуты молчанья.

— Ну да, ведь у тебя немного вещей; я думаю, уложим.

— Прекрасно! сейчас и поедем, — сказал младший со вздохом и пошел в комнату.

Но, не отворяя двери, он остановился в сенях, печально опустив голову, и начал думать:

«Сейчас прямо в Севастополь, в этот ад — ужасно! Однако все равно, когда-нибудь надо же было. Теперь, по крайней мере, с братом...»

Дело в том, что только теперь, при мысли, что, севши в тележку, он, не вылезая из нее, будет в Севастополе и что никакая случайность уже не может задержать его, ему ясно представилась опасность, которой он искал, — и он смутился, испугался одной мысли о близости ее. Кое-как успокоив себя, он вошел в комнату; но прошло четверть часа, а он все не выходил к брату, так что старший отворил наконец дверь, чтоб вызвать его. Меньшой Козельцов, в положении прови-

нившегося школьника, говорил о чем-то с офицером из П. Когда брат отворил дверь, он совершенно растерялся.

– Сейчас, сейчас я выйду – заговорил он, махая рукой брату. – Подожди меня, пожалуйста, там.

Через минуту он вышел действительно и с глубоким вздохом подошел к брату.

– Можешь себе представить, я не могу с тобой ехать, брат, – сказал он.

– Как? Что за вздор!

– Я тебе всю правду скажу, Миша! У нас уж ни у кого денег нет, и мы все должны этому штабс-капитану, который из П. едет. Ужасно стыдно!

Старший брат нахмурился и долго не прерывал молчанья.

– Много ты должен? – спросил он, исподлбья взглядывая на брата.

– Много... нет, не очень много; но совестно ужасно: он на трех станциях за меня платил, и сахар все его шел... так что я не знаю... да и в преферанс мы играли... я ему немножко остался должен.

– Это скверно, Володя! Ну что бы ты сделал, ежели бы меня не встретил? – сказал строго, не глядя на брата, старший.

– Да я думал, братец, что получу эти подъемные в Севастополе, так отдам. Ведь можно так сделать; да и лучше уж завтра я с ним приеду.

Старший брат достал кошелек и с некоторым дрожанием пальцев достал оттуда две десятирублевые и одну трехруб-

левую бумажку.

— Вот мои деньги, — сказал он.— Сколько ты должен?

Сказав, что это были все его деньги, Козельцов говорил не совсем правду: у него было еще четыре золотых, зашитых на всякий случай в обшлаге, но которые он дал себе слово ни за что не трогать.

Оказалось, что Козельцов-второй, с преферансом и сахаром, был должен только восемь рублей офицеру из П. Старший брат дал их ему, заметив только, что этак нельзя, когда денег нет, еще в преферанс играть.

— На что ж ты играл?

Младший брат не отвечал ни слова. Вопрос брата показался ему сомнением в его честности. Досада на самого себя, стыд в поступке, который мог подавать такие подозрения, и оскорбление от брата, которого он так любил, произвели в его впечатлительной натуре такое сильное, болезненное чувство, что он ничего не отвечал, чувствуя, что не в состоянии будет удержаться от слезливых звуков, которые подступали ему к горлу. Он взял не глядя деньги и пошел к товарищам.

Николаев, подкрепивший себя в Дуванкой двумя крышками водки, купленными у солдата, продававшего ее на мосту, подергивал вожжами, повозочка подпрыгивала по каменной, кое-где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю, а братья, поталкиваясь нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о друге, упорно молчали.

«Зачем он меня оскорбил, — думал меньшей, — разве он не мог не говорить про это? Точно как будто он думал, что я вор; да и теперь, кажется, сердится, так что мы уже навсегда расстроились. А как бы славно нам было вдвоем в Севастополе! Два брата, дружные между собой, оба сражаются со врагом: один старый уже, хотя не очень образованный, но храбрый воин, и другой — молодой, но тоже молодец... Через неделю я бы всем доказал, что я уж не очень молоденький! Я и краснеть перестану, в лице будет мужество, да и усы — небольшие, но порядочные вырастут к тому времени, — и он ущипнул, себя за пушок, показавшийся у краев рта. — Может быть, мы нынче приедем и сейчас же попадем в дело вместе с братом. А он должен быть упорный и очень храбрый — такой, что много не говорит, а делает лучше других. Я б желал знать, — продолжал он, — нарочно или нет он прижимает меня к самому краю повозки? Он, верно, чувствует, что мне неловко, и делает вид, что будто не замечает

меня. Вот мы нынче приедем, — продолжал он рассуждать, прижимаясь к краю повозки и боясь пошевелиться, чтобы не дать заметить брату, что ему неловко, — и вдруг прямо на бастион: я с орудиями, а брат с ротой, — и вместе пойдем. Только вдруг французы бросятся на нас. Я — стрелять, стрелять: перебью ужасно много; но они все-таки бегут прямо на меня. Уж стрелять нельзя, и — конечно, мне нет спасенья; только вдруг брат выбежит вперед с саблей, и я схвачу ружье, и мы вместе с солдатами побежим. Французы бросятся на брата. Я подбегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье в другую и все-таки бегу; только брата убьют пулей подле меня. Я останавлиюсь на минутку, посмотрю на него этак грустно, поднимусь и закричу: «За мной, отмстим! Я любил брата больше всего на свете, — я скажу, — и потерял его. Отметим, уничтожим врагов или все умрем тут!» Все закричат, бросятся за мной. Туг все войско французское выйдет, — сам Пелиссье. Мы всех перебьем; но, наконец, меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда все прибегут ко мне. Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я скажу, что ничего не хочу, — только чтобы меня положили рядом с братом, что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: «Да, вы не умели ценить двух человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба пали... да простит вам бог!» — и умру».

Кто знает, в какой мере сбудутся эти мечты!

– Что, ты был когда-нибудь в схватке? – спросил он вдруг у брата, совершенно забыв, что не хотел говорить с ним.

– Нет, ни разу, – отвечал старший, – у нас две тысячи человек из полка выбыло, всё на работах; и я ранен тоже на работе. Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя!

Слово «Володя» тронуло меньшого брата; ему захотелось объясниться с братом, который вовсе и не думал, что оскорбил Володю.

– Ты на меня не сердишься, Миша? – сказал он после минутного молчания.

– За что?

– Нет – так. За то, что у нас было. Так, ничего.

– Нисколько, – отвечал старший, поворачиваясь к нему и похлопывая его по ноге.

– Так ты меня извини, Миша, ежели я тебя огорчил.

И меньшей брат отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые вдруг выступили у него из глаз.

– Неужели это уж Севастополь? – спросил меньшей брат, когда они поднялись на гору и перед ними открылись бухта с мачтами кораблей, море с неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки и строения города, и белые, лиловатые облака дыма, беспрестанно поднимавшиеся по желтым горам, окружающим город, и стоявшие в синем небе, при розоватых лучах солнца, уже с блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря.

Володя без малейшего содрогания увидал это страшное место, про которое он так много думал; напротив, он с эстетическим наслаждением и героическим чувством самодовольства, что вот и он через полчаса будет там, смотрел на это действительно прелестно-оригинальное зрелище, и смотрел с сосредоточенным вниманием до самого того времени, пока они не приехали на Северную, в обоз полка брата, где должны были узнать наверное о месте расположения полка и батареи.

Офицер, заведовавший обозом, жил около так называемого нового городка – дощатых бараков, построенных матросскими семействами, в палатке, соединенной с довольно большим балаганом, заплетенным из зеленых дубовых веток, не успевших еще совершенно засохнуть.

Братья застали офицера перед складным столом, на котором стоял стакан холодного чаю с папиросной золой и поднос с водкой и крошками сухой икры и хлеба, в одной желтовато-грязной рубашке, считающего на больших счетах огромную кипу ассигнаций. Но прежде чем говорить о личности офицера и его разговоре, необходимо попристальнее взглянуть на внутренность его балагана и знать хоть немного его образ жизни и занятия. Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен, с столиками и лавочками, плетеными и из дерна, — как только строят для генералов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался, были завешаны тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и, верно, дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром с изображенной на нем амазонкой, лежало плюшевое ярко-красное одеяло, грязная прорванная кожаная подушка и енотовая шуба; на столе стояло зеркало в серебряной раме, серебряная, ужасно грязная, щетка, изломанный, набитый масляными волосами роговой гребень, серебряный подсвечник, бутылка ликера с золотым красным огромным ярлыком, золотые часы с изображением Петра I, два золотые перстня, коробочка с какими-то капсюлями, корка хлеба, и разбросанные старые карты, и пустые и полные бутылки портера под кроватью. Офицер этот заведовал обозом полка и продовольствием лошадей. С ним вместе жил его большой приятель — комиссионер, занимающийся тоже какими-то операциями. Он, в то время как во-

шли братья, спал в палатке; обозный же офицер делал счета казенных денег перед концом месяца. Наружность обозного офицера была очень красивая и воинственная: большой рост, большие усы, благородная плотность. Неприятна была в нем только какая-то потность и опухлость всего лица, скрывавшая почти маленькие серые глаза (как будто он весь был налит портером), и чрезвычайная нечистоплотность – от жидких масленных волос до больших босых ног в каких-то горностаевых туфлях.

– Денег-то, денег-то! – сказал Козельцов-первый, входя в балаган и с невольной жадностью устремляя глаза на кучу ассигнаций. – Хоть бы половину взаймы дали, Василий Михайлыч!

Обозный офицер; как будто пойманный на воровстве, весь покоробился, увидав гостя, и, собирая деньги, не поднимаясь, поклонился.

– Ох, коли бы мои были... Казенные, батюшка! А это кто с вами? – сказал он, упрятывая деньги в шкатулку, которая стояла около него, и прямо глядя на Володю.

– Это мой брат, из корпуса приехал. Да вот мы заехали узнать у вас, где полк стоит.

– Садитесь, господа, – сказал он, вставая и, не обращая внимания на гостей, уходя в палатку. – Выпить не хотите ли? Портерку, может быть? – сказал он оттуда.

– Не мешает, Василий Михайлыч!

Володя был поражен величиим обозного офицера, его

небрежную манерой и уважением, с которым обращался к нему брат.

«Должно быть, это очень хороший у них офицер, которого все почитают; верно, простой, очень храбрый и гостеприимный», — подумал он, скромно и робко садясь на диван.

— Так где же ваш полк стоит? — спросил через палатку старший брат.

— Что?

Он повторил вопрос.

— Нынче у меня Зейфер был: он рассказывал, что перешли вчера на пятый бастион.

— Наверное?

— Коли я говорю, стало быть верно; а впрочем, черт его знает! Он и соврать не дорого возьмет. Что ж, будете портер пить? — сказал обозный офицер все из палатки.

— А пожалуй, выпью, — сказал Козельцов.

— А вы выпьете, Осип Игнатьич? — продолжал голос в палатке, верно, обращаясь к спавшему комиссионеру. — Полноте спать: уж осьмой час.

— Что вы пристаёте ко мне! я не сплю, — отвечал ленивый тоненький голосок, приятно картавя на буквах л и р.

— Ну, вставайте: мне без вас скучно.

И обозный офицер вышел к гостям.

— Дай портеру. Симферопольского! — крикнул он.

Денщик с гордым выражением лица, как показалось Володе, вошел в балаган и из-под него, даже толкнув офицера,

достал портер.

— Да, батюшка, — сказал обозный офицер, наливая стаканы, — нынче новый полковой командир у нас. Денежки нужны, всем обзаводится.

— Ну этот, я думаю, совсем особенный, новое поколение, — сказал Козельцов, учтиво взяв стакан в руку.

— Да, новое поколение! Такой же скряга будет. Как батальоном командовал, так как кричал, а теперь другое поет. Нельзя, батюшка.

— Это так.

Меньшой брат ничего не понимал, что они говорят, но ему смутно казалось, что брат говорит не то, что думает, но как будто потому только, что пьет портер этого офицера.

Бутылка портера уже была выпита, и разговор продолжался уже довольно долго в том же роде, когда полы палатки распахнулись и из нее выступил невысокий свежий мужчина в синем атласном халате с кисточками, в фуражке с красным околышем и кокардой. Он вышел, поправляя свои черные усики, и, глядя куда-то на ковер, едва заметным движением плеча ответил на поклоны офицеров.

— Дай-ка и я выпью стаканчик! — сказал он, садясь подле стола.— Что это, вы из Петербурга едете, молодой человек? — сказал он, ласково обращаясь к Володе.

— Да-с, в Севастополь еду.

— Сами просились?

— Да-с.

— И что вам за охота, господа, я не понимаю! — продолжал комиссионер. — Я бы теперь, кажется, пешком готов был уйти, ежели бы пустили, в Петербург. Опостыла, ей-богу, эта собачья жизнь!

— Чем же тут плохо вам? — сказал старший Козельцов, обращаясь к нему. — Еще вам бы не жизнь здесь! Комиссионер посмотрел на него и отвернулся.

— Эта опасность («про какую он говорит опасность, сидя на Северной», — подумал Козельцов), лишения, ничего достать нельзя, — продолжал он, обращаясь все к Володе. —

И что вам за охота, я решительно вас не понимаю, господа! Хоть бы выгоды какие-нибудь были, а то так. Ну, хорошо ли это, в ваши лета вдруг останетесь калекой на всю жизнь?

— Кому нужны доходы, а кто из чести служит! — с досадой в голосе опять вмешался Козельцов-старший.

— Что за честь, когда нечего есть! — презрительно смеясь, сказал комиссионер, обращаясь к обозному офицеру, который тоже засмеялся при этом. — Заведи-ка из «Лучии», мы послушаем, — сказал он, указывая на коробочку с музыкой, — я люблю ее...

— Что, он хороший человек, этот Василий Михайлыч? — спросил Володя у брата, когда они уже в сумерки вышли из балагана и поехали дальше к Севастополю.

— Ничего, только скупая шельма такая, что ужас! Ведь он малым числом имеет триста рублей в месяц! А живет, как свинья, ведь ты видел. А комиссионера этого я видеть не мо-

гу, я его побью когда-нибудь. Ведь эта каналья из Турции тысяч двенадцать вывез... — И Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко (сказать по правде) с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство — зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им.

Володя не то чтоб был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту через бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Все, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими недавними впечатлениями: паркетная светлая большая зала экзамена, веселые, добрые голоса и смех товарищей, новый мундир, любимый царь, которого он семь лет привык видеть и который, прощаясь с ними со слезами, называл их детьми своими, — и так мало все, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты.

— Ну, вот мы и приехали! — сказал старший брат, когда они, подъехав к Михайловской батарее, вышли из повозки.—

Ежели нас пропустят на мосту, мы сейчас же пойдем в Николаевские казармы. Ты там останься до утра, а я пойду в полк — узнаю, где твоя батарея стоит, и завтра приду за тобой.

— Зачем же? лучше вместе пойдем, — сказал Володя. — И я пойду с тобой на бастион. Ведь уж все равно: привыкать надо. Ежели ты пойдешь, и я могу.

— Лучше не ходить.

— Нет, пожалуйста, я, по крайней мере, узнаю, как...

— Мой совет не ходить, а пожалуй...

Небо было чисто и темно; звезды и беспрестанно движу-

щиеся огни бомб и выстрелов уже ярко светились во мраке. Большое белое здание батареи и начало моста выдавались из темноты. Буквально каждую секунду несколько орудийных выстрелов и взрывов, быстро следуя друг за другом или вместе, громче и отчетливее потрясали воздух. Из-за этого гула, как будто вторя ому, слышалось пасмурное ворчание бухты. С моря тянул ветерок, и пахло сыростью. Братья подошли к мосту. Какой-то ополченец стукнул неловко ружьем на руку и крикнул:

– Кто идет?

– Солдат!

– Не велено пущать!

– Да как же! Нам нужно.

– Офицера спросите.

Офицер, дремавший сидя на якоре, приподнялся и велел пропустить.

– Туда можно, оттуда нельзя. Куда лезешь все разом! – крикнул он на полковые повозки, высоко наложенные турами, которые толпились у въезда.

Спускаясь на первый понтон, братья столкнулись с солдатами, которые, громко разговаривая, шли оттуда.

– Когда он амунишные получил, значит, он в расчете полностью – вот что...

– Эх, братцы! – сказал другой голос. – Как на Сиверную перевалишь, свет увидишь, ей-богу! Совсем воздух другой.

– Говори больше! – сказал первый. – Намеднишь тут же

прилетела окаянная, двум матросам ноги пооборвала, — так не говори лучше.

Братья прошли первый понтон, дожидаясь повозки, и остановились на втором, который местами уже заливало водой. Ветер, казавшийся слабым в поле, здесь был весьма силен и порывист; мост качало, и волны, с шумом ударяясь о бревна и разрезаясь на якорях и канатах, заливали доски. Направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечно ровной черной линией от звездного, светло-сероватого в слиянии горизонта; и далеко где-то светились огни на неприятельском флоте; налево чернела темная масса нашего корабля и слышались удары волн о борта его; виднелся пароход, шумно и быстро двигавшийся от Северной. Огонь разорвавшейся около него бомбы осветил мгновенно высоко наваленные туры на палубе, двух человек, стоящих наверху, и белую пену и брызги зеленоватых волн, разрезаемых пароходом. У края моста сидел, спустив ноги в воду, какой-то человек в одной рубаше и чинил что-то в понтоне; впереди, над Севастополем, носились те же огни, и громче, громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочила ноги Володе; два солдата, шлепая ногами по воде, прошли мимо него. Что-то вдруг с треском осветило мост впереди, едущую по нем повозку и верхового, и осколки, с свистом поднимая брызги, попадали в воду.

— А, Михаил Семеныч! — сказал верховой, останавливая

лошадь против старшего Козельцова, — что, уж совсем поправились?

— Как видите. Куда вас бог несет?

— На Северную за патронами: ведь я нынче за полкового адъютанта... штурма ждем с часу на час, а по пяти патронов в суме нет. Отличные распоряжения!

— А где же Марцов?

— Вчера ногу оторвало... в городе, в комнате спал... Может, вы его застанете, он на перевязочном пункте.

— Полк на пятом, правда?

— Да, на место М...цов заступили. Вы зайдите на перевязочный пункт: там наши есть — вас проводят.

— Ну, а квартира моя на Морской цела?

— И, батюшка! уж давно всю разбили бомбами. Вы не узнаете теперь Севастополя; уж женщин ни души нет, ни трактиров, ни музыки; вчера последнее заведение переехало. Теперь ужасно грустно стало... Прощайте!

И офицер рысью поехал дальше.

Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему все казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, — казалось, все говорило ему, чтобы он не шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного ме-

ста смерти. «Но, может, уж поздно, уж решено теперь», - подумал он, содрогаясь частью от этой мысли, частью оттого, что вода прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги.

Володя глубоко вздохнул и отошел немного в сторону от брата.

— Господи! неужели же меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня! — сказал он шепотом и перекрестился.

— Ну, пойдем, Володя, — сказал старший брат, когда повозочка въехала на мост. — Видел бомбу?

На мосту встречались братьям повозки с ранеными, с турами, одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороне никто не задержал их.

Инстинктивно, придерживаясь стенки Николаевской батареи, братья, молча, прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже тут над головами, и реву осколков, валившихся сверху, пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что пятая легкая, в которую назначен был Володя, стоит на Корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, идти ночевать к старшему брату на пятый бастион, а оттуда завтра в батарею. Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они наконец пришли на перевязочный пункт.

Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые, и пропитанную этим тяжелым, отвратительно-ужасным гошпитальным запахом, они встретили двух сестер милосердия, выходивших им навстречу.

Одна женщина, лет пятидесяти, с черными глазами и строгим выражением лица, несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику, фельдшеру, который шел за ней; другая, весьма хорошенькая девушка, лет двадцати, с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило-беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, обкладываявшего ей лицо, шла, руки в карманах передника, потупившись, подле старшей и, казалось, боялась отставать от нее.

Козельцов обратился к ним с вопросом, не знают ли они, где Марцов, которому вчера оторвало ногу.

— Это, кажется, П. полка? — спросила старшая. — Что, он вам родственник?

— Нет-с, товарищ.

— Гм! Проводите их, — сказала она молодой сестре, по-французски, — вот сюда, — а сама подошла с фельдшером к раненому.

— Пойдем же, что ты смотришь! — сказал Козельцов Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим вы-

ражением, не мог оторваться – смотрел на раненых. – Пойдем же.

Володя пошел с братом, но все продолжая оглядываться и бессознательно повторяя:

– Ах, боже мой! Ах, боже мой!

– Верно, они недавно здесь? – спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору.

– Только что приехал.

Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала.

– Боже мой, боже мой! Когда это все кончится! – сказала она с отчаянием в голосе.

Они вошли в офицерскую палату. Марцов лежал навзничь, закинув жилистые, обнаженные до локтей руки за голову и с выражением на желтом лице человека, который стиснул зубы, чтобы не кричать от боли. Целая нога была в чулке высунута из-под одеяла, и видно было, как он на ней судорожно перебирает пальцами.

– Ну что, как вам? – спросила сестра, своими тоненькими, нежными пальцами, на одном из которых, Володя заметил, было золотое колечко, поднимая его немного плешивую голову и поправляя подушку. – Вот ваши товарищи пришли вас проведать.

– Разумеется, больно, – сердито сказал он. – Оставьте, мне хорошо! – И пальцы в чулке зашевелились еще быст-

рее.— Здравствуйте! Как вас зовут, извините? — сказал он, обращаясь к Козельцову. — Ах, да, виноват, тут все забудешь, — сказал он, когда тот сказал ему свою фамилию. —

Ведь мы с тобой вместе жили, — прибавил он без всякого выражения удовольствия, вопросительно глядя на Володю.

— Это мой брат, нынче приехал из Петербурга.

— Гм! А я-то вот и полный выслужил, — сказал он, морщась. — Ах, как больно!.. Да уж лучше бы конец скорее.

Он вздернул ногу и, промывав что-то, закрыл лицо руками.

— Его надо оставить, — шепотом сказала сестра, со слезами на глазах, — уж он очень плох.

Братья еще на Северной решили идти вместе на пятый бастион; но, выходя из Николаевской батареи, они как будто условились не подвергаться напрасно опасности и, ничего не говоря об этом предмете, решили идти каждому порознь,

— Только как ты найдешь, Володя? — сказал старший. —

Впрочем, Николаев тебя проводит на Корабельную, а я пойду один и завтра у тебя буду.

Больше ничего не было сказано в это последнее прощанье между двумя братьями.

Гром пушек продолжался с той же силой, но Екатерининская улица, по которой шел Володя, с следовавшим за ним молчаливым Николаевым, была пустынна и тиха. Во мраке виднелась ему только широкая улица с белыми, во многих местах разрушенными стенами больших домов и каменный тротуар, по которому он шел; изредка встречались солдаты и офицеры. Проходя по левой стороне улицы, около Адмиралтейства, при свете какого-то яркого огня, горевшего за стеной, он увидал посаженные вдоль тротуара акации с зелеными подпорками и жалкие, запыленные листья этих акаций. Шаги свои и Николаева, тяжело дышавшего, шедшего за ним, он слышал явственно. Он ничего не думал: хорошенькая сестра милосердия, нога Марцова с движущимися в чулке пальцами, мрак, бомбы и различные образы смерти смутно носились в его воображении. Вся его молодая впечатлительная душа сжалась и ныла под влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его участи в то время, как он был в опасности. «Убьют, буду мучиться, страдать, — и никто не заплачет!» И все это вместо исполненной энергии и сочувствия жизни героя, о которой он мечтал так славно. Бомбы лопались и свистели ближе и ближе, Николаев вздыхал чаще и не нарушал молчания. Проходя через мост, ведущий на Корабельную, он увидал, как что-то,

свистя, влетело недалеко от него в бухту, на секунду багрово осветило лиловые волны, исчезло и потом с брызгами поднялось оттуда.

– Вишь, не задохлась! – сказал Николаев.

– Да, – ответил он, невольно и неожиданно для себя каким-то тоненьким-тоненьким, пискливым голоском.

Встречались носилки с ранеными, опять полковые повозки с турами; какой-то полк встретился на Корабельной; верховые проезжали мимо. Один из них был офицер с казаком. Он ехал рысью, но, увидав Володю, приостановил лошадь около него, взгляделся ему в лицо, отвернулся и поехал прочь, ударив плетью по лошади. «Один, один! всем все равно, есть ли я, или нет меня на свете», – подумал с ужасом бедный мальчик, и ему без шуток захотелось плакать.

Поднявшись на гору мимо какой-то высокой белой стены, он вошел в улицу разбитых маленьких домиков, беспрестанно освещаемых бомбами. Пьяная, растерзанная женщина, выходя из калитки с матросом, наткнулась на него.

– Потому, коли бы он был блаародный чуаек, – пробормотала она, – пардон, ваш благородие офицер!

Сердце все больше и больше ныло у бедного мальчика; а на черном горизонте чаще и чаще вспыхивала молния, и бомбы чаще и чаще свистели и лопались около него. Николаев глубоко вздохнул и вдруг начал говорить каким-то, как показалось Володе, гробовым голосом:

– Вот всё торопились из губернии ехать. Ехать да охать.

Есть куда торопиться! Которые умные господа, так, чуть мало-мальски ранены, живут себе в ошпитале. Так-то хорошо, что лучше не надо.

— Да что ж, коли брат уж здоров теперь, — отвечал Володя, надеясь хоть разговором разогнать чувство, овладевшее им.

— Здоров! Какое его здоровье, когда он вовсе болен? Которые и настоящие здоровые-то, и те, которые умные ость, живут в ошпитале в этокое время. Что тут-то радости много, что ли? Либо ногу, либо руку оторвет — вот те и всё! Долго ли до греха! Уж на что здесь, в городе, не то, что на баксионе, и то страсть какая. Идешь — молитвы все перечитаешь. Ишь, бестия, так мимо тебя и дзанкнет! — прибавил он, обращая внимание на звук близко прожужжавшего осколка.—

Вот теперича, — продолжал Николаев, — велел ваше благородие проводить. Наше дело известно: что приказано, то должен сполнять; а ведь главное — повозку так на какого-то солдатишку бросили, и узел развязан. Иди да иди; а что из имения пропадет, Николаев отвечай.

Пройдя еще несколько шагов, они вышли на площадь. Николаев молчал и вздыхал.

— Вот артилерия ваша стоит, ваше благородие! — сказал он вдруг. — У часового спросите: он вам покажет. — И Володя, пройдя несколько шагов, перестал слышать за собой звуки вздохов Николаева.

Он вдруг почувствовал себя совершенно, окончательно одним. Это сознание одиночества в опасности — перед смер-

тью, как ему казалось, — ужасно тяжелым, холодным камнем легло ему на сердце. Он остановился посреди площади, оглянулся: не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: «Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус? Неужели за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое создание!» — И Володя с истинным чувством отчаяния и разочарования в самом себе спросил у часового дом батарейного командира и пошел по указанному направлению.

Жилище батарейного командира, которое указал ему часовой, был небольшой двухэтажный домик со входом с двора. В одном из окон, залепленном бумагой, светился слабый огонек свечки. Денщик сидел на крыльце и курил трубку. Он пошел доложить батарейному командиру и ввел Володю в комнату. В комнате между двух окон, под разбитым зеркалом, стоял стол, заваленный казенными бумагами, несколько стульев и железная кровать с чистой постелью и маленьким ковриком около нее.

Около самой двери стоял красивый мужчина с большими усами – фельдфебель, – в тесаке и шинели, на которой висели крест и венгерская медаль. Посередине комнаты взад и вперед ходил невысокий, лет сорока, штаб-офицер с подвязанной распухшей щекой, в тонкой старенькой шинели.

– Честь имею явиться, прикомандированный в пятую легкую, прапорщик Козельцов-второй, – проговорил Володя заученную фразу, входя в комнату.

Батарейный командир сухо ответил на поклон и, не подавая руки, пригласил его садиться.

Володя робко опустился на стул подле письменного стола и стал перебирать в пальцах ножницы, попавшиеся ему в руки. Батарейный командир, заложив руки за спину и опустив голову, только изредка поглядывая на руки, вертевшие нож-

ницы, молча продолжал ходить по комнате с видом человека, припоминающего что-то.

Батарейный командир был довольно толстый человечек, с большою плешью на маковке, густыми усами, пущенными прямо и закрывавшими рот, и большими приятными карими глазами. Руки у него были красивые, чистые и пухлые, ножки очень вывернутые, ступавшие с уверенностью и некоторым щегольством, доказывавшим, что батарейный командир был человек незастенчивый.

— Да, — сказал он, останавливаясь против фельдфебеля, — ящичным надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить, а то они у нас худы. Как ты думаешь?

— Что ж, прибавить можно, ваше высокоблагородие! Теперь все подешевле овес стал, — отвечал фельдфебель, шевеля пальцы на руках, которые он держал по швам, но которые, очевидно, любили жестом помогать разговору. — А еще фуражир наш Францук вчера мне из обоза записку прислал, ваше высокоблагородие, что осей непременно нам нужно будет там купить, — говорят, дешевы, — так как изволите приказать?

— Что ж, купить: ведь у него деньги есть. — И батарейный командир снова стал ходить по комнате. — А где ваши вещи? — спросил он вдруг у Володи, останавливаясь против него.

Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом взгляде, в каждом слове он находил презрение к се-

бе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проник его тайну и подтрунивает над ним. Он, смутившись, отвечал, что вещи на Графской и что завтра брат обещал их доставить ему.

Но подполковник не дослушал его и, обратясь к фельдфебелю, спросил:

– Где бы нам поместить прапорщика?

– Прапорщика-с? – сказал фельдфебель, еще больше смущая Володю беглым брошенным на него взглядом, выразившим как будто вопрос: «Ну что это за прапорщик, и стоит ли его помещать куда-нибудь?» – Да вот-с внизу, ваше высокоблагородие, у штабс-капитана могут поместиться их благородие, – продолжал он, подумав немного, – теперь штабс-капитан на баксионе, так ихняя койка пустая остается.

– Так вот, не угодно ли-с покамест? – сказал батарейный командир. – Вы, я думаю, устали, а завтра лучше устроим.

Володя встал и поклонился.

– Не угодно ли чаю? – сказал батарейный командир, когда Володя уж подходил к двери. – Можно самовар поставить.

Володя поклонился и вышел. Полковничий денщик провел его вниз и ввел в голую, грязную комнату, в которой валялся разный хлам и стояла железная кровать без белья и одеяла. На кровати, накрывшись толстой шинелью, спал какой-то человек в розовой рубашке.

Володя принял его было за солдата.

– Петр Николаич! – сказал денщик, толкая за плечо спя-

щего.— Тут прапорщик лягут... Это наш юнкер, — прибавил он, обращаясь к прапорщику.

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал Володя; но юнкер, высокий, плотный, молодой мужчина, с красивой, но весьма глупой физиономией, встал с кровати, накинул шинель и, видимо, не проснувшись еще хорошенько, вышел из комнаты.

— Ничего, я на дворе лягу, — пробормотал он.

Оставшись наедине с своими мыслями, первым чувством Володи было отвращение к тому беспорядочному, безотрадному состоянию, в котором находилась душа его. Ему захотелось заснуть и забыть все окружающее, а главное – самого себя. Он потушил свечку, лег на постель и, сняв с себя шинель, закрылся с головою, чтобы избавиться от страха темноты, которому он еще с детства был подвержен. Но вдруг ему пришла мысль, что прилетит бомба, пробьет крышу и убьет его. Он стал вслушиваться; над самой его головой слышались шаги батарейного командира.

«Впрочем, ежели и прилетит, – подумал он, – то прежде убьет наверху, а потом меня; по крайней мере, не меня одного». Эта мысль успокоила его немного; он стал было засыпать. «Ну что, ежели вдруг ночью возьмут Севастополь и французы ворвутся сюда? Чем я буду защищаться?» Он опять встал и походил по комнате. Страх действительной опасности подавил таинственный страх мрака. Кроме седла и самовара, в комнате ничего твердого не было. «Я подлец, я трус, мерзкий трус!» – вдруг подумал он и снова перешел к тяжелому чувству презрения, отвращения даже к самому себе. Он снова лег и старался не думать. Тогда впечатления дня невольно возникали в воображении при непрерывающихся, заставлявших дрожать стекла в единственном ок-

не звуках бомбардирования и снова напоминали об опасности: то ему грезились раненые и кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, то хорошенькая сестра милосердия, делающая ему, умирающему, перевязку и плачущая над ним, то мать его, провожающая его в уездном городе и горячо, со слезами, молящаяся перед чудотворной иконой, — и снова сон кажется ему невозможен. Но вдруг мысль о боге всемогущем, добром, который все может сделать и услышит всякую молитву, ясно пришла ему в голову. Он стал на колени, перекрестился и сложил руки так, как его в детстве еще учили молиться. Этот жест вдруг перенес его к давно забытому отрадному чувству.

«Ежели нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это, господи, — думал он, — поскорее сделай это; но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, — дай мне их, но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить твою волю».

Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидала новые, обширные, светлые горизонты. Много еще передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под звуки продолжавшегося гула бомбардирования и дрожания стекол.

Господи великий! только ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие и отчаянные мольбы неведения, смутного

раскаяния и страдания, которые восходили к тебе из этого страшного места смерти, — от генерала, за секунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но с страхом чующего близость твою, до измученного, голодного, вшивого солдата, повалившегося на голом полу Николаевской батареи и просящего тебя скорее дать ему там бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные страдания! Да, ты не уставал слушать мольбы детей твоих, ниспосылаешь им везде ангела-утешителя, влагавшего в душу терпение, чувство долга и отраду надежды.

Старший Козельцов, встретив на улице солдата своего полка, с ним вместе направился прямо к пятому бастиону.

– Под стенкой держитесь, ваше благородие! – сказал солдат.

– А что?

– Опасно, ваше благородие; вон она аж через несеть, – сказал солдат, прислушиваясь к звуку просвистевшего ядра, ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы.

Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел по середине улицы.

Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни, звуки, стоны, встречи с ранеными и те же батареи, бруствера и траншеи, какие были весною, когда он был в Севастополе; но все это почему-то было теперь грустнее и вместе энергичнее, – пробоин в домах больше, огней в окнах уже совсем нету, исключая Кущина дома (госпиталя), женщины ни одной не встречается, – на всем лежит теперь не прежний характер привычки и беспечности, а какая-то печать тяжелого ожидания, усталости и напряженности.

Но вот уже последняя траншея, вот и голос солдатика П. полка, узнавшего своего прежнего ротного командира, вот и третий батальон стоит в темноте, прижавшись у стенки, изредка на мгновение освещаемый выстрелами и слышный

сдержанным говором и побрякиванием ружей.

— Где командир полка? — спросил Козельцов.

— В блиндаже у флотских, ваше благородие! — отвечал услужливый солдатик. — Пожалуйста, я вас провожу.

Из траншеи в траншею солдат привел Козельцова к канавке в траншее. В канавке сидел матрос, покуривая трубочку; за ним виднелась дверь, в щели которой просвечивал огонь.

— Можно войти?

— Сейчас доложу. — И матрос вошел в дверь. Два голоса говорили за дверью.

— Ежели Пруссия будет продолжать держать нейтралитет, — говорил один голос, — то Австрия тоже...

— Да что Австрия, — говорил другой, — когда славянские земли... Ну, проси.

Козельцов никогда не был в этом блиндаже. Он поразил его своей щеголеватостью. Пол был паркетный, ширмочки закрывали дверь. Две кровати стояли по стенам, в углу висела большая, в золотой ризе, икона божьей матери, и перед ней горела розовая лампадка. На одной из кроватей спал моряк, совершенно одетый, на другой, перед столом, на котором стояло две бутылки начатого вина, сидели разговаривавшие — новый полковой командир и адъютант. Хотя Козельцов далеко был не трус и решительно ни в чем не был виноват ни перед правительством, ни перед полковым командиром, он робел, и поджилки у него затряслись при виде полковника, бывшего недавнего своего товарища: так гордо

встал этот полковник и выслушал его. Притом и адъютант, сидевший тут же, смущал своей позой и взглядом, говорившими: «Я только приятель вашего полкового командира. Вы не ко мне являетесь, и я от вас никакой почтительности не могу и не хочу требовать». «Странно, — думал Козельцов, глядя на своего командира, — только семь недель, как он принял полк, а как уж во всем его окружающем — в его одежде, осанке, взгляде — видна власть полкового командира, эта власть, основанная не столько на летах, на старшинстве службы, на военном достоинстве, сколько на богатстве полкового командира. Давно ли, — думал он, — этот самый Батрищев кучивал с нами, носил по неделям ситцевую немаркую рубашку и едал, никого не приглашая к себе, вечные битки и вареники! А теперь! голландская рубашка уж торчит из-под драпового с широкими рукавами сюртука, десятирублевая сигара в руке, на столе шестирублевый лафит, — все это закупленное по невероятным ценам через квартирмейстера в Симферополе, — и в глазах это выражение холодной гордости аристократа богатства, которое говорит вам: хотя я тебе и товарищ, потому что я полковой командир новой школы, но не забывай, что у тебя шестьдесят рублей в треть жалованья, а у меня десятки тысяч проходят через руки, и поверь, что я знаю, как ты готов бы полжизни отдать за то только, чтобы быть на моем месте».

— Вы долгонько лечились, — сказал полковник Козельцову, холодно глядя на него.

– Болен был, полковник, еще и теперь рана хорошенько не закрылась.

– Так вы напрасно приехали, – с недоверчивым взглядом на плотную фигуру офицера сказал полковник. – Вы можете, однако, исполнять службу?

– Как же-с, могу-с.

– Ну, и очень рад-с. Так вы примите от прапорщика Зайцева девятую роту – вашу прежнюю; сейчас же вы получите приказ.

– Слушаю-с.

– Потрудитесь, когда вы пойдете, послать ко мне полкового адъютанта, – заключил полковой командир, легким поклоном давая чувствовать, что аудиенция кончена.

Выйдя из блиндажа, Козельцов несколько раз промычал что-то и подернул плечами, как будто ему было от чего-то больно, неловко или досадно, и досадно не на полкового командира (не за что), а сам собой и всем окружающим он был как будто недоволен. Дисциплина и условие ее – субординация – только приятно, как всякие обзаконенные отношения, когда она основана, кроме взаимного сознания в необходимости ее, на признанном со стороны низшего превосходства в опытности, военном достоинстве или даже просто моральном совершенстве; но зато, как скоро дисциплина основана, как у нас часто случается, на случайности или денежном принципе, – она всегда переходит, с одной стороны, в важничество, с другой – в скрытую зависть и до-

саду и вместо полезного влияния соединения масс в одно целое производит совершенно противоположное действие. Человек, не чувствуящий в себе силы внутренним достоинством внушить уважение, инстинктивно боится сближения с подчиненными и старается внешними выражениями важности отдалить от себя критику. Подчиненные, видя одну эту внешнюю, оскорбительную для себя сторону, – уже за ней, большею частью несправедливо, не предполагают ничего хорошего.

Козельцов, прежде чем идти к своим офицерам, пошел поздороваться с своею ротой и посмотреть, где она стоит. Бруствера из туров, фигуры траншей, пушки, мимо которых он проходил, даже осколки и бомбы, на которые он спотыкался по дороге, — все это, беспрестанно освещаемое огнями выстрелов, было ему хорошо знакомо. Все это живо врезалось у него в памяти три месяца тому назад, в продолжение двух недель, которые он безвыходно провел на этом самом бастионе. Хотя много было ужасного в этом воспоминании, какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему, и он с удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь две недели, узнавал знакомые моста и предметы. Рота была расположена по оборонительной стенке к шестому бастиону.

Козельцов вошел в длинный, совершенно открытый со стороны входа блиндаж, в котором, ему сказали, стоит девятая рота. Буквально ноги некуда было поставить во всем блиндаже: так он от самого входа наполнен был солдатами. В одной стороне его светилась сальная кривая свечка, которую лежа держал солдатик. Другой солдатик по складам читал какую-то книгу, держа ее около самой свечки. В смрадном полусвете блиндажа видны были поднятые головы, жадно слушающие чтеца. Книжка была азбука, и, входя в блиндаж, Козельцов услышал следующее:

– «Страх... смерти врожденное чувство человеку».

– Снимите со свечки-то, – сказал голос. – Книжка славная.

– «Бог... мой...» – продолжал чтец.

Когда Козельцов спросил фельдфебеля, чтец замолк, солдаты зашевелились, закашляли, засморкались, как всегда после сдержанного молчания; фельдфебель, застегиваясь, поднялся около группы чтеца и, шагая через ноги и по ногам тех, которым некуда было убрать их, вышел к офицеру.

– Здравствуй, брат! Что, это вся наша рота?

– Здравия желаем! с приездом, ваше благородие! – отвечал фельдфебель, весело и дружелюбно глядя на Козельцова. – Как здоровьем поправились, ваше благородие? Ну и слава богу! А то мы без вас соскучились.

Видно сейчас было, что Козельцова любили в роте. В глубине блиндажа слышались голоса: «Старый ротный приехал, что раненый был, Козельцов, Михаил Семеныч», и т. п.; некоторые даже подошлись к нему, барабанщик поздоровался.

– Здравствуй, Обанчук! – сказал Козельцов. – Цел? – Здорово, ребята! – сказал он потом, возвышая голос.

– Здравия желаем! – загудело в блиндаже.

– Как поживаете, ребята?

– Плохо, ваше благородие: одолевает француз, – так дурно бьет из-за шанцов, да и шабаш, а в поле не выходит.

– Авось на мое счастье, бог даст, и выйдет в поле, ребята! –

сказал Козельцов. — Уж мне с вами не в первый раз: опять поколотим.

— Ради стараться, ваше благородие! — сказала несколько голосов.

— Что же, они точно смелые, их благородие ужасно какие смелые! — сказал барабанщик не громко, но так, что слышно было, обращаясь к другому солдату, как будто оправдываясь перед ним в словах ротного командира и убеждая его, что в них ничего нет хвастливого и неправдоподобного.

От солдатиков Козельцов перешел в оборонительную казарму к товарищам-офицерам.

В большой комнате казармы было пропасть народа: морские, артиллерийские и пехотные офицеры. Одни спали, другие разговаривали, сидя на каком-то ящике и лафете крепостной пушки; третьи, составляя самую большую и шумную группу за сводом, сидели на полу, на двух разостланных бурках, пили портер и играли в карты.

– А! Козельцов, Козельцов! хорошо, что приехал, молодец!.. Что рана? – слышалось с разных сторон. И здесь видно было, что его любят и рады его приезду.

Пожав руки знакомым, Козельцов присоединился к шумной группе, составившейся из нескольких офицеров, игравших в карты. Между ними были тоже его знакомые. Красивый худощавый брюнет, с длинным, сухим носом и большими усами, продолжавшимися от щек, метал банк белыми сухими пальцами, на одном из которых был большой золотой перстень с гербом. Он метал прямо и неаккуратно, видимо чем-то взволнованный и только желая казаться небрежным. Подле него, по правую руку, лежал, облокотившись, седой майор, уже значительно выпивший, и с аффектацией хладнокровия понтировал по полтиннику и тотчас же расплачивался. По левую руку на корточках сидел красный, с потным лицом, офицерик, принужденно улыбался и шутил, когда били его карты; он шевелил беспрестанно одной рукой в пу-

стом кармане шаровар и играл большой маркой, но, очевидно, уже не на чистые, что именно и коробило красивого брюнета. По комнате, держа в руках большую кипу ассигнаций, ходил плешивый, с огромным злым ртом, худой и бледный безусый офицер и все ставил ва-банк наличные деньги и выигрывал.

Козельцов выпил водки и подсел к играющим.

– Понтирните-ка, Михаил Семеныч! – сказал ему банкомет. – Денег пропасть, я чай, привезли.

– Откуда у меня деньгам быть? Напротив, последние в городе спустил.

– Как же! вздули, уж верно, кого-нибудь в Симферополе.

– Право, мало, – сказал Козельцов, но, видимо по желая, чтоб ему верили, расстегнулся и взял в руки старые карты.

– Попытаться нешто, чем черт не шутит! и комар, бывает, что, знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости.

И в непродолжительном времени, выпив еще три рюмки водки и несколько стаканов портера, он был уже совершенно в духе всего общества, то есть в тумане и забвении действительности, и проигрывал последние три рубля.

На маленьком вспотевшем офицере было написано сто пятьдесят рублей.

– Нет, не везет, – сказал он, небрежно приготавливая новую карту.

– Потрудитесь прислать, – сказал ему банкомет, на мину-

ту останавливаясь метать и взглядывая на него.

— Позвольте завтра прислать, — отвечал потный офицер, вставая и усиленно перебирая рукой в пустом кармане.

— Гм! — промычал банкомет и, злостно бросая направо, налево, дometал талию. — Однако этак нельзя, — сказал он, положив карты, — я бастую. Этак нельзя, Захар Иваныч, — прибавил он, — мы играли на чистые, а не на мелок.

— Что ж, разве вы во мне сомневаетесь? Странно, право!

— С кого прикажете получить? — пробормотал майор, сильно опьяневший к этому времени и выигравший что-то рублей восемь. — Я прислал уже больше двадцати рублей, а выиграл — ничего не получаю.

— Откуда же и я заплачу, — сказал банкомет, — когда на столе денег нет?

— Я знать не хочу! — закричал майор, поднимаясь. — Я играю с вами, с честными людьми, а не с ними. Потный офицер вдруг разгорячился:

— Я говорю, что заплачу завтра; как же вы смеее мне говорить дерзости?

— Я говорю, что хочу! Так честные люди не делают, вот что! — кричал майор.

— Полноте, Федор Федорыч! — заговорили все, удерживая майора. — Оставьте!

Но майор, казалось, только и ждал того, чтобы его просили успокоиться, для того чтобы рассвирепеть окончательно. Он вдруг вскочил и, шатаясь, направился к потному офице-

ру.

— Я дерзости говорю? Кто постарше вас, двадцать лет своему царю служит, — дерзости? Ах ты, мальчишка! — вдруг запищал он, все более и более воодушевляясь звуками своего голоса. — Подлец!

Но опустим скорее завесу над этой глубокогрустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно; но одна отрада жизни в тех ужасающих самое холодное воображение условиях отсутствия всего человеческого и безнадежности выхода из них, одна отрада есть забвение, уничтожение сознания. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть ярко, — придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела.

На другой день бомбардирование продолжалось с тою же силою. Часов в одиннадцать утра Володя Козельцов сидел в кружке батарейных офицеров и, уже успев немного привыкнуть к ним, всматривался в новые лица, наблюдал, расспрашивал и рассказывал. Скромная, несколько притязательная на ученость беседа артиллерийских офицеров внушала ему уважение и правилась. Стыдливая же, невинная и красивая наружность Володи располагала к нему офицеров. Старший офицер в батарее, капитан, невысокий рыжеватый мужчина с хохолком и гладенькими височками, воспитанный по старым преданиям артиллерии, дамский кавалер и будто бы ученый, расспрашивал Володю о знаниях его в артиллерии, новых изобретениях, ласково подтрунивал над его молодостью и хорошеньким личиком и вообще обращался с ним, как отец с сыном, что очень приятно было Володе. Подпоручик Дяденко, молодой офицер, говоривший хохлацким выговором, в оборванной шинели и с взъерошенными волосами, хотя и говорил весьма громко и беспрестанно ловил случаи о чем-нибудь желчно поспорить и имел резкие движения, все-таки нравился Володе, который под этой грубой внешностью не мог не видеть в нем очень хорошего и чрезвычайно доброго человека. Дяденко предлагал беспрестанно Володе свои услуги и доказывал ему, что все орудия в Севастополе по-

ставлены не по правилам. Только поручик Черновицкий, с высоко поднятыми бровями, хотя и был учтивее всех и одет в сюртук, довольно чистый, хотя и не новый, но тщательно заплатаанный, и выказывал золотую цепочку на атласном жилете, не нравился Володе. Он все расспрашивал его, что делает государь и военный министр, и рассказывал ему с ненатуральным восторгом подвиги храбрости, свершенные в Севастополе, жалел о том, как мало встречаешь патриотизма и какие делаются неблагоприятные распоряжения и т. д., вообще выказывал много знания, ума и благородных чувств; но почему-то все это казалось Володе заученным и неестественным. Главное, он замечал, что прочие офицеры почти не говорили с Черновицким. Юнкер Вланг, которого он разбудил вчера, тоже был тут. Он ничего не говорил, но, скромно сидя в уголку, смеялся, когда было что-нибудь смешное, вспоминал, когда забывали что-нибудь, подавал водку и делал папироски для всех офицеров. Скромные ли, учтивые манеры Володи, который обращался с ним так же, как с офицером, и не помыкал им, как мальчишкой, или приятная наружность пленили Влангу, как называли его солдаты, склоняя почему-то в женском роде его фамилию, только он не спускал своих добрых больших глупых глаз с лица нового офицера, предугадывал и предупреждал все его желания и все время находился в каком-то любовном экстазе, который, разумеется, заметили и подняли на смех офицеры.

Перед обедом сменился штабс-капитан с бастиона и при-

соединился к их обществу. Штабс-капитан Краут был белокурый красивый бойкий офицер с большими рыжими усами и бакенбардами; он говорил по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского. В службе и в жизни он был так же, как в языке: он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям; но просто как человек, именно оттого, что все это было слишком хорошо, — чего-то в нем не доставало. Как все русские немцы, по странной противоположности с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени.

— Вот он, наш герой является! — сказал капитан в то время, как Краут, размахивая руками и побрякивая шпорами, весело входил в комнату. — Чего хотите, Фридрих Крестьяныч: чаю или водки?

— Я уж приказал себе чайку поставить, — отвечал он, — а водочки покамест хватить можно для услаждения души. Очень приятно познакомиться; прошу нас любить и жаловать, — сказал он Володе, который, встав, поклонился ему, — штабс-капитан Краут. Мне на бастионе фейерверкер сказывал, что вы прибыли еще вчера.

— Очень вам благодарен за вашу постель: я ночевал на ней.

— Покойно ли вам только было? там одна ножка сломана; да все некому починить — в осадном-то положении, — ее подкладывать надо.

— Ну что, счастливо отдежурили? — спросил Дяденко.

– Да ничего, только Скворцову досталось, да лафет один вчера починили. Вдребезги разбили станину.

Он встал с места и начал ходить; видно было, что он весь находился под влиянием приятного чувства человека, только что вышедшего из опасности.

– Что, Дмитрий Гаврилыч, – сказал он, потрясая капитана за коленки, – как поживаете, батюшка? Что ваше представление, молчит еще?

– Ничего еще нет.

– Да и не будет ничего, – заговорил Дяденко, – я вам доказывал это прежде.

– Отчего же не будет?

– Оттого, что не так написали реляцию.

– Ах вы, спорщик, спорщик, – сказал Краут, весело улыбаясь, – настоящий хохол неуступчивый. Ну, вот вам назло же, выйдет вам поручика.

– Нет, не выйдет.

– Вланг, принесите-ка мне мою трубочку да набейте, – обратился он к юнкеру, который тотчас же охотно побежал за трубкой.

Краут всех оживил, рассказывал про бомбардированье, расспрашивал, что без него делалось, заговаривал со всеми.

– Ну, как? вы уж устроились у нас? – спросил Краут у Володи. – Извините, как ваше имя и отчество? У нас, вы знаете, уж такой обычай в артиллерии. Лошадку верховую приобрели?

– Нет, – сказал Володя, – я но знаю, как быть. Я капитану говорил: у меня лошади нет, да и денег тоже нет, покуда я не получу фуражных и подъемных. Я хочу просить покамест лошади у батарейного командира, да боюсь, как бы он не отказал мне.

– Аполлон Сергеич-то? – Он произвел губами звук, выражающий сильное сомнение, и посмотрел на капитана. – Вряд!

– Что ж, откажет – не беда, – сказал капитан, – тут-то лошади, по правде, и не нужно, а все попытать можно, я спрошу нынче.

– Как! вы его не знаете, – вмешался Дяденко, – другое что откажет, а им ни за что... хотите пари?..

– Ну, да ведь уж известно, вы всегда противоречите.

– Оттого противоречу, что я знаю, он на другое скуп, а лошадь даст, потому что ему нет расчета отказать.

– Как нет расчета, когда ему здесь по восемь рублей овес обходится! – сказал Краут. – Расчет-то есть не держать лишней лошади!

– Вы просите себе Скворца, Владимир Семеныч, – сказал Вланг, вернувшийся с трубкой Краута, – отличная лошадка!

– С которой вы в Сороках в канаву упали? А? Вланга? – засмеялся штабс-капитан.

– Нет, да что же вы говорите, по восемь рублей овес, – продолжал спорить Дяденко, – когда у него справка по десять с полтиной; разумеется, не расчет.

– А еще бы у него ничего не оставалось! Небось вы будете батарейным командиром, так в город не дадите лошади съездить!

– Когда я буду батарейным командиром, у меня будут, батюшка, лошади по четыре гарнчика кушать; доходов не буду собирать, не бойтесь.

– Поживем, посмотрим, – сказал штабс-капитан. – И вы будете брать доход, и они, как будут батареей командовать, тоже будут остатки в карман класть, – прибавил он, указывая на Володю.

– Отчего же вы думаете, Фридрих Крестьяныч, что и они захотят пользоваться? – вмешался Черновицкий. – Может, у них состояние есть: так зачем же они станут пользоваться?

– Нет-с, уж я... извините меня, капитан, – покраснев до ушей, сказал Володя, – уж я это считаю неблагородно.

– Эге-ге! Какой он бедовый! – сказал Краут. – Дослужитесь до капитана, не то будете говорить.

– Да это все равно; я только думаю, что ежели но мои деньги, то я и не могу их брать.

— А я вам вот что скажу, молодой человек, — начал более серьезным тоном штабс-капитан. — Вы знаете ли, что когда вы командуете батареей, то у вас, ежели хорошо ведете дела, непременно остается в мирное время пятьсот рублей, в военное — тысяч семь, восемь, и от одних лошадей. Ну и ладно. В солдатское продовольствие батарейный командир не вмешивается: уж это так искони ведется в артиллерии; ежели вы дурной хозяин, у вас ничего не останется. Теперь вы должны издерживать, против положения, на ковку — раз (он загнул один палец), на аптеку-два (он загнул другой палец), на канцелярию — три, на подручных лошадей по пятьсот целковых платят, батюшка, а ремонтная цена пятьдесят, и требуют, — это четыре. Вы должны против положения воротники переменить солдатам, на уголь у вас много выходит, стол вы держите для офицеров. Ежели вы батарейный командир, вы должны жить прилично: вам и коляску нужно, и шубу, и всякую штуку, и другое, и третье, и десятое... да что и говорить...

— А главное, — подхватил капитан, молчавший все время, — вот что, Владимир Семеныч: вы представьте себе, что человек, как я, например, служит двадцать лет сперва на двух, а потом на трехстах рублях жалованья в нужде постоянной; так не дать ему хоть за его службу кусок хлеба под старость нажить, когда комиссьонеры в неделю десятки тысяч наживают?

— Э! да что тут! — снова заговорил штабс-капитан. — Вы

не торопитесь судить, а поживите-ка да послужите.

Володе ужасно стало совестно и стыдно за то, что он так необдуманно сказал, и он пробормотал что-то и молча продолжал слушать, как Дяденко с величайшим азартом принялся спорить и доказывать противное.

Спор был прерван приходом денщика полковника, который звал кушать.

– А вы нынче скажите Аполлону Сергеичу, чтоб он вина поставил, – сказал Черновицкий, застегиваясь, капитану.–

И что он скупится? Убьют, так никому не достанется!

– Да вы сами скажите, – отвечал капитан.

– Нет уж, вы старший офицер: надо порядок во всем.

Стол был отодвинут от стены и грязной скатертью накрыт в той самой комнате, в которой вчера Володя являлся полковнику. Батарейный командир нынче подал ему руку и спрашивал про Петербург и про дорогу.

– Ну-с, господа, кто водку пьет, милости просим! Прапорщики не пьют, – прибавил он, улыбаясь Володе.

Вообще батарейный командир казался нынче вовсе не таким суровым, как вчера; напротив, он имел вид доброго, гостеприимного хозяина и старшего товарища. Но несмотря на то, все офицеры, от старого капитана до спорщика Дяденки, по одному тому, как они говорили, учтиво глядя в глаза командиру, и как робко подходили друг за другом пить водку, показывали к нему большое уважение.

Обед состоял из большой миски щей, в которых плавали жирные куски говядины и огромное количество перцу и лаврового листа, польских зразов с горчицей и колдунов с не совсем свежим маслом. Салфеток не было, ложки были жестяные и деревянные, стаканов было два, и на столе стоял только графин воды, с отбитым горлышком; но обед был не скучен: разговор не умолкал. Сначала речь шла о Инкерманском сражении, в котором участвовала батарея и из которого каждый рассказывал свои впечатления и соображения о причинах неудачи и умолкал, когда начинал говорить

сам батарейный командир; потом разговор, естественно, перешел к недостаточности калибра легких орудий, к новым облегченным пушкам, причем Володя успел показать свои знания в артиллерии. Но на настоящем ужасном положении Севастополя разговор не останавливался, как будто каждый слишком много думал об этом предмете, чтоб еще говорить о нем. Тоже об обязанностях службы, которые должен был нести Володя, к его удивлению и огорчению, совсем не было речи, как будто он приехал в Севастополь только затем, чтобы рассказывать об облегченных орудиях и обедать у батарейного командира. Во время обеда недалеко от дома, в котором они сидели, упала бомба. Пол и стены задрожали, как от землетрясения, и окна застлало пороховым дымом.

— Вы этого, я думаю, в Петербурге не видали; а здесь часто бывают такие сюрпризы, — сказал батарейный командир. — Посмотрите, Вланг, где это лопнула.

Вланг посмотрел и донес, что на площади, и о бомбе больше речи не было.

Перед самым концом обеда старичок, батарейный писарь, вошел в комнату с тремя запечатанными конвертами и подал их батарейному командиру. «Вот этот весьма нужный, сейчас казак привез от начальника артиллерии». Все офицеры невольно с нетерпеливым ожиданием смотрели на опытные в этом деле пальцы батарейного командира, сламывавшие печать конверта и достававшие оттуда весьма нужную бумагу. «Что это могло быть?» — делал себе вопрос каждый.

Могло быть совсем выступление на отдых из Севастополя, могло быть назначение всей батареи на бастионы.

— Опять! — сказал батарейный командир, сердито швырнув на стол бумагу.

— Об чем, Аполлон Сергеич? — спросил старший офицер.

— Требуют офицера с прислугой на какую-то там мортирную батарею. У меня и так всего четыре человека офицеров и прислуги полной в строй не выходит, — ворчал батарейный командир, — а тут требуют еще. Однако надо кому-нибудь идти, господа, — сказал он, помолчав немного, — приказано в семь часов быть на Рогатке... Послать фельдфебеля! Кому же идти, господа, решайте, — повторил он.

— Да вот они еще нигде не были, — сказал Черновицкий, указывая на Володю.

Батарейный командир ничего не ответил.

— Да, я бы желал, — сказал Володя, чувствуя, как холодный пот выступал у него по спине и шее.

— Нет, зачем! — перебил капитан. — Разумеется, никто не откажется, но и напрашиваться не след; а коли Апполон Сергеич предоставляет это нам, то кинуть жребий, как и тот раз делали.

Все согласились. Краут нарезал бумажки, скатал их и насыпал в фуражку. Капитан шутил и даже решился при этом случае попросить вина у полковника, для храбрости, как он сказал. Дяденко сидел мрачный. Володя улыбался чему-то, Черновицкий уверял, что непременно ему достанется, Краут

был совершенно спокоен.

Володе первому дали выбирать. Он взял один билетик, который был подлиннее, но тут же ему пришло в голову переменить, — взял другой, поменьше и потолще, и, развернув, прочел на нем: «Идти».

— Мне, — сказал он, вздохнув.

— Ну, и с богом. Вот вы и обстреляетесь сразу, — сказал батарейный командир, с доброй улыбкой глядя на смущенное лицо прапорщика. — Только поскорей собирайтесь. А чтобы вам веселей было, Вланг пойдет с вами за орудийного фейерверкера.

Вланг был чрезвычайно доволен своим назначением, живо побежал собираться и, одетый, пришел помогать Володе и все уговаривал его взять с собой и койку, и шубу, и старые «Отечественные записки», и кофейник спиртовой, и другие ненужные вещи. Капитан посоветовал Володе прочесть сначала по «Руководству» о стрельбе из мортир и выписать тотчас же оттуда таблицу углов возвышения. Володя тотчас же принялся за дело, и, к удивлению и радости своей, заметил, что хотя чувство страха опасности и, еще более того, что он будет трусом, беспокоили его еще немного, но далеко не в той степени, в какой это было накануне. Отчасти причиной тому было влияние дня и деятельности, отчасти и главное то, что страх, как и каждое сильное чувство, не может в одной степени продолжаться долго. Одним словом, он уже успел перебояться. Часов в семь, только что солнце начинало прятаться за Николаевской казармой, фельдфебель вошел к нему и объявил, что люди готовы и дожидаются.

– Я Вланге, список отдал. Вы у него извольте спросить, ваше благородие! – сказал он.

Человек двадцать артиллерийских солдат в тесаках без принадлежности стояли за углом дома. Володя вместе с юнкером подошел к ним. «Сказать ли им маленькую речь или просто сказать: «Здорово, ребята!», или ничего не сказать? –

подумал он.— Да и отчего ж не сказать: «Здорово, ребята!» — это должно даже». И он смело крикнул своим звучным голосом: «Здорово, ребята!» Солдаты весело отозвались: молодой, свежий голосок приятно прозвучал в ушах каждого. Володя бодро шел впереди солдат, и хотя сердце у него стучало так, как будто он пробежал во весь дух несколько верст, походка была легкая и лицо веселое. Подходя уже к самому Малахову кургану, поднимаясь на гору, он заметил, что Вланг, ни на шаг не отстававший от него и дома казавшийся таким храбрым, беспрестанно сторонился и нагибал голову, как будто все бомбы и ядра, уже очень часто свистевшие тут, летели прямо на него. Некоторые из солдатиков делали то же, и вообще на большей части их лиц выражалось ежели не боязнь, то беспокойство. Эти обстоятельства окончательно успокоили и ободрили Володю.

«Так вот я и на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным! И я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу даже гораздо меньше других! Так я не трус?» — подумал он с наслаждением и даже некоторым восторгом самодовольства.

Однако это чувство бесстрашия и самодовольства было скоро поколеблено зрелищем, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. Четыре человека матросов, около бруствера, за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали его, желая перекинуть че-

рез бруствер. (На второй день бомбардирования не успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батареях). Володя с минуту остолбенел, увидав, как труп ударился на вершину бруствера и потом медленно скатился оттуда в канаву; но, на его счастье, тут же начальник бастиона встретился ему, отдал приказания и дал проводника на батарею и в блиндаж, назначенный для прислуги. Не буду рассказывать, сколько еще ужасов, опасностей и разочарований испытал наш герой в этот вечер; как вместо такой стрельбы, которую он видел на Волковом поле, при всех условиях точности и порядка, которые он надеялся найти здесь, он нашел две разбитые мортирки без прицелов, из которых одна была смята ядром в дуле, а другая стояла на щепках разбитой платформы; как он не мог до утра добиться рабочих, чтоб починить платформу; как ни один заряд не был того веса, который означен был в «Руководстве»; как ранили двух солдат его команды и как двадцать раз он был на волоске от смерти. По счастью, в помощь ему назначен был огромного роста комендор, моряк, с начала осады бывший при мортирах и убедивший его в возможности еще действовать из них, с фонарем водивший его ночью по всему бастиону, точно как по своему огороду, и обещавший к завтраму все устроить. Блиндаж, к которому провел его проводник, была вырытая в каменном грунте, в две кубические сажени продолговатая яма, накрытая аршинными дубовыми бревнами. В ней-то он поместился со всеми своими солда-

тами. Вланг, первый, как только увидал в аршин низенькую дверь блиндажа, опрометью, прежде всех, вбежал в нее и, чуть не разбившись о каменный пол, забился в угол, из которого уже не выходил больше. Володя же, когда все солдаты поместились вдоль стен на полу и некоторые закурили трубочки, разбил свою кровать в углу, зажег свечку и, закулив папироску, лег на койку. Над блиндажом слышались беспрестанные выстрелы, но не слишком громко, исключая одной пушки, стоявшей рядом и потрясавшей блиндаж так сильно, что с потолка земля сыпалась. В самом блиндаже было тихо: только солдаты, еще дичась нового офицера, изредка переговаривались, прося один другого посторониться или огню — трубочку закурить; крыса скреблась где-то между камнями, или Вланг, не пришедший еще в себя и дико смотревший кругом, вздыхал вдруг громким вздохом. Володя на своей кровати, в набитом народом уголке, освещенном одной свечкой, испытывал то чувство уюта, которое было у него, когда ребенком, играя в прятки, бывало, он залезал в шкаф или под юбку матери и, не переводя дыхания, слушал, боялся мрака и вместе наслаждался чем-то. Ему было и жутко немножко и весело.

Минут через десять солдатики поосмелились и поразговорились. Поближе к огню и кровати офицера расположились люди позначительнее – два фейерверкера: один – седой, старый, со всеми медалями и крестами, исключая Георгиевского; другой – молодой, из кантонистов, куривший верченые папироски. Барабанщик, как и всегда, взял на себя обязанность прислуживать офицеру. Бомбардиры и кавалеры сидели поближе, а уж там, в тени около входа, поместились покорные. Между ними-то и начался разговор. Поводом к нему был шум быстро ввалившегося в блиндаж человека.

– Что, брат, на улице не посидел? али не весело девки играют? – сказал один голос.

– Такие песни играют чудные, что в деревне никогда не слыхивали, – сказал, смеясь, тот, который вбежал в блиндаж.

– А не любит Васин бомбов, ох, не любит! – сказал один из аристократического угла.

– Что ж! когда нужно, совсем другая статья! – сказал медленный голос Васина, который когда говорил, то все другие замолкали. – Двадцать четвертого числа так палили по крайности; а то что ж дурно-то на говне убьет, и начальство за это нашему брату спасибо не говорит.

– Вот Мельников – тот небось все на дворе сидит, – сказал кто-то.

– А пошлите его сюда, Мельникова-то, – прибавил старый фейерверке?, – и в самом деле убьет так, понапрасну.

– Что это за Мельников? – спросил Володя.

– А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится и теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть: он и из себя-то на ведмедя похож.

– Он заговор знает, – сказал медлительный голос Васина из другого угла.

Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый (что чрезвычайная редкость между солдатами), рыжий, красный мужчина, с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясно-голубыми глазами.

– Что, ты не боишься бомб? – спросил его Володя.

– Чего бояться бомбов-то! – отвечал Мельников, пожимаясь и почесываясь, – меня из бомбы не убьют, я знаю.

– Так ты бы захотел тут жить?

– А известно, захотел бы. Тут весело! – сказал он, вдруг расхохотавшись.

– О, так тебя надо на вылазку взять! Хочешь, я скажу генералу? – сказал Володя, хотя он не знал здесь ни одного генерала.

– А как не хотеть! Хочу!

И Мельников спрятался за других.

– Давайте в носки, ребята! У кого карты есть? – слы-

шался его торопливый голос.

Действительно, скоро в заднем углу завязалась игра — слышались удары по носу, смех и козырянье. Володя напился чаю из самовара, который наставил ему барабанщик, угощал фейерверкеров, шутил, заговаривал с ними, желая заслужить популярность и очень довольный тем уважением, которое ему оказывали. Солдатики тоже, заметив, что барин простой, поразговорились. Один рассказывал, как скоро должно кончиться осадное положение в Севастополе, что ему верный флотский человек рассказывал, как Кистентин, царев брат, с мериканским флотом идет нам на выручку, еще — как скоро уговор будет, чтобы не палить две недели и отдых дать, а коли кто выпалит, то за каждый выстрел семьдесят пять копеек штрафа платить будут.

Васин, который, как успел рассмотреть Володя, был маленький, с большими добрыми глазами, бакенбардист, рассказал при общем сначала молчании, а потом хохоте, как, приехав в отпуск, сначала ему были рады, а потом отец стал его посылать на работу, а за женой лесничий поручик дрожки присылал. Все это чрезвычайно забавляло Володю. Он не только не чувствовал ни малейшего страха или неудовольствия от тесноты и тяжелого запаха в блиндаже, но ему чрезвычайно весело и приятно было.

Уже многие солдаты храпели. Вланг тоже растянулся на полу, и старый фейерверкер, расстелив шинель, крестясь, бормотал молитвы перед сном, когда Володе захотелось вый-

ти из блиндажа — посмотреть, что на дворе делается.

— Подбирай ноги! — закричали друг другу солдаты, только что он встал; и ноги, поджимаясь, дали ему дорогу.

Вланг, казавшийся спящим, вдруг поднял голову и схватил за полу шинели Володю.

— Ну полноте, не ходите, как можно! — заговорил он слезливо-убедительным тоном.— Ведь вы еще не знаете; там беспрестанно падают ядра; лучше здесь...

Но, несмотря на просьбы Вланга, Володя выбрался из блиндажа и сел на пороге, на котором уже сидел, переобуваюсь, Мельников.

Воздух был чистый и свежий — особенно после блиндажа; ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышался звук колес телег, привозивших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомб; налево, в аршине, маленькое отверстие вело в другой блиндаж, в которое виднелись ноги и спины матросов, живших там, и слышались пьяные голоса их; впереди виднелось возвышение порохового погреба, мимо которого мелькали фигуры согнувшихся людей и на котором, на самом верху, под пулями и бомбами, которые беспрестанно свистели в этом месте, стояла какая-то высокая фигура в черном пальто, с руками в карманах, и ногами притаптывала землю, которую мешками носили туда другие люди. Часто бомба пролетала и рвалась весьма близко от погреба. Солда-

ты, носившие землю, пригибались, сторонились; черная же фигура не двигалась, спокойно утаптывая землю ногами, и все в том же положении оставалась на месте.

— Кто этот черный? — спросил Володя у Мельникова.

— Не могу знать; пойду посмотрю.

— Не ходи, не нужно.

Но Мельников, не слушая, встал, подошел к черному человеку и весьма долго, так же равнодушно и подвижно, стоял около него.

— Это погребной, ваше благородие, — сказал он, возвратившись, — погребок пробило бомбой, так пехотные землю носят.

Изредка бомбы летели прямо, казалось, к двери блиндажа.

Тогда Володя прятался за угол и снова высовывался, глядя наверх, не летит ли еще сюда. Хотя Вланг несколько раз из блиндажа умолял Володю вернуться, он часа три просидел на пороге, находя какое-то удовольствие в испытывании судьбы и наблюдении за полетом бомб. Под конец вечера уж он знал, откуда сколько стреляет орудий и куда ложатся их снаряды.

На другой день, 27-го числа, после десятичасового сна, Володя, свежий, бодрый, рано утром вышел на порог блиндажа. Вланг тоже было вылез вместе с ним, но при первом звуке пули стремглав, пробивая себе головой дорогу, кубарем бросился назад в отверстие блиндажа, при общем хохоте тоже большей частью повышедших на воздух солдатиков. Только Васин, старик фейерверкер и несколько других выходили редко в траншею; остальных нельзя было удержать: все повысыпали на свежий утренний воздух из смрадного блиндажа и, несмотря на столь же сильное, как и накануне, бомбардированье, расположились кто около порога, кто под бруствером. Мельников уже с самой зорьки прогуливался по батареям, равнодушно поглядывая вверх.

Около порога сидели два старых и один молодой курчавый солдат, из жидов по наружности. Солдат этот, подняв одну из валявшихся пуль и черепком расплюснув ее о камень, ножом вырезал из нее крест на манер Георгиевского; другие, разговаривая, смотрели на его работу. Крест действительно выходил очень красив.

— А что, как еще постоим здесь сколько-нибудь, — говорил один из них, — так по замиренье всем в отставку срок выйдет.

— Как же! мне и то всего четыре года до отставки оставалось, а теперь пять месяцев простоял в Сивастополе.

– К отставке не считается, слышь, – сказал другой. В это время ядро просвистело над головами говоривших и в арши-не ударилося от Мельникова, подходившего к ним по траншее.

– Чуть не убило Мельникова, – сказал один.

– Не убьет, – отвечал Мельников.

– Вот на же тебе хрест за храбрость, – сказал молодой солдат, делавший крест и отдавая его Мельникову,

– Нет, брат, тут, значит, месяц за год ко всему считается – на то приказ был, – продолжался разговор.

– Как ни суди, бисприменно по замирении исделают смотр царский в Аршаве, и коли не отставка, так в бессрочные выпустят.

В это время визгливая, зацепившаяся пулька пролетела над самыми головами разговаривающих и ударилась о камень.

– Смотри, еще до вечера вчистую выйдешь, – сказал один из солдат.

И все засмеялись

И не только до вечера, но через два часа уже двое из них получили чистую, а пять были ранены; но остальные шутили точно так же.

Действительно, к утру две мортирки были приведены в такое положение, что можно было стрелять из них. Часу в десятом, по полученному приказанию от начальника бастиона, Володя вызвал свою команду и с ней вместе пошел на

батарею.

В людях незаметно было и капли того чувства боязни, которое выражалось вчера, как скоро они принялись за дело. Только Вланг не мог преодолеть себя: прятался и гнулся все так же, и Васин потерял несколько свое спокойствие, суетился и приседал беспрестанно. Володя же был в чрезвычайном восторге: ему не приходила и мысль об опасности. Радость, что он исполняет хорошо свою обязанность, что он не только не трус, но даже храбр, чувство командования и присутствия двадцати человек, которые, он знал, с любопытством смотрели на него, сделали из него совершенного молодца. Он даже тщеславился своей храбростью, франтил перед солдатами, вылезал на банкет и нарочно расстегнул шинель, чтобы его заметнее было. Начальник бастиона, обходивший в это время свое хозяйство, по его выражению, как он ни привык в восемь месяцев ко всяким родам храбрости, не мог не полюбоваться на этого хорошенького мальчика в расстегнутой шинели, из-под которой видна красная рубашка, обхватывающая белую нежную шею, с разгоревшимся лицом и глазами, похлопывающего руками и звонким голоском командующего: «Первое, второе!» – и весело взбегающего на бруствер, чтобы посмотреть, куда падает его бомба. В половине двенадцатого стрельба с обеих сторон затихла, а ровно в двенадцать часов начался штурм Малахова кургана, второго, третьего и пятого бастионов.

По сую сторону бухты, между Инкерманом и Северным укреплением, на холме телеграфа, около полудня стояли два моряка, один – офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, вместе с казаком только что подъехавший к большой веже.

Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшею с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь, все тот же, с своей недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов; все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой – ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом моря, по которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли длинные белые облака, обещая ветер. По всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, по несколько вдруг, беспрестанно, с

молнией, блестящей иногда даже в полуденном свете, рождались клубки густого, сжатого белого дыма, разрастались, принимая различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мелькая то там, то здесь, рождались по горам, на батареях неприятельских, и в городе, и высоко на небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали воздух...

К двенадцати часам дымки стали показываться реже и реже, воздух меньше колебался от гула.

— Однако второй бастион уже совсем не отвечает, — сказал гусарский офицер, сидевший верхом, — весь разбит! Ужасно!

— Да и Малахов нешто на три их выстрела посылает один, — отвечал тот, который смотрел в трубу. — Это меня бесит, что они молчат. Вот опять прямо в Корниловскую попала, а она ничего не отвечает.

— А посмотри, к двенадцати часам, я говорил, они всегда перестают бомбардировать. Вот и нынче так же. Поедем лучше завтракать... нас ждут уже теперь... нечего смотреть.

— Постой, не мешай! — отвечал смотревший в трубу, с особенной жадностью глядя на Севастополь.

— Что там? что?

— Движение в траншеях, густые колонны идут.

— Да и так видно, — сказал моряк, — идут колоннами. Надо дать сигнал.

— Смотри, смотри! вышли из траншеи.

Действительно, простым глазом видно было, как будто темные пятна двигались с горы через балку от французских батарей к бастионам. Впереди этих пятен видны были темные полосы уже около нашей линии. На бастионах вспыхнули в разных местах, как бы перебегая, белые дымки выстрелов. Ветер донес звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам, перестрелки. Черные полосы двигались в самом дыму, ближе и ближе. Звуки стрельбы, усиливаясь и усиливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся грохот. Дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быстро по линии и слился, наконец, весь в одно лиловатое, свивающееся и развивающееся облако, в котором кое-где едва мелькали огни и черные точки – все звуки соединились в один перекатывающийся треск.

– Штурм! – сказал офицер с бледным лицом, отдавая трубку моряку.

Казаки проскакали по дороге, офицеры верхами, главнокомандующий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице видны были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного.

– Не может быть, чтобы взяли! – сказал офицер на лошади.

– Ей-богу, знамя! посмотри! посмотри! – сказал другой, задыхаясь, отходя от трубы, – французское на Малаховом!

– Не может быть!

Козельцов-старший, успевший отыгаться в ночь и снова спустить все, даже золотые, зашитые в обшлага, перед утром спал еще нездоровым, тяжелым, но крепким сном в оборонительной казарме пятого бастиона, когда, повторяемый различными голосами, раздался роковой крик:

– Тревога!..

– Что вы спите, Михайло Семеныч! Штурм! – крикнул ему чей-то голос.

– Верно, школьник какой-нибудь, – сказал он, открывая глаза и не веря еще.

Но вдруг он увидел одного офицера, бегающего без всякой видимой цели из угла в угол, с таким бледным, испуганным лицом, что он все понял. Мысль, что его могут принять за труса, не хотевшего выйти к роте в критическую минуту, поразила его ужасно. Он во весь дух побежал к роте. Стрельба орудийная кончилась; но трескотня ружей была во всем разгаре. Пули свистели не по одной, как штуцерные, а роями, как стадо осенних птичек пролетает над головами. Все то место, на котором стоял вчера его батальон, было застлано дымом, были слышны недружные крики и возгласы. Солдаты, раненые и нераненые, толпами попадались ему навстречу. Пробежав еще шагов тридцать, он увидал свою роту, прижавшуюся к стенке, и лицо одного из своих солдат, но

бледное-бледное, испуганное. Другие лица были такие же. Чувство страха невольно сообщилось и Козельцову: мороз пробежал ему по коже.

— Заняли Шварца, — сказал молодой офицер, у которого зубы щелкали друг о друга. — Все пропало!

— Вздор, — сказал сердито Козельцов и, желая возбудить себя жестом, выхватил свою маленькую железную тупую сабелку и закричал: — Вперед, ребята! Ура-а!

Голос был звучный и громкий; он возбудил самого Козельцова. Он побежал вперед вдоль траверса; человек пятьдесят солдат с криками побежало за ним. Когда они выбежали из-за траверса на открытую площадку, пули посыпались буквально как град; две ударились в него, но куда и что они сделали — контузили, ранили его, он не имел времени решить. Впереди, в дыму, видны были ему уже синие мундиры, красные панталоны и слышны нерусские крики; один француз стоял на бруствере, махал шапкой и кричал что-то. Козельцов был уверен, что его убьют; это-то и придавало ему храбрости. Он бежал вперед и вперед. Несколько солдат обогнали его; другие солдаты показались откуда-то сбоку и бежали тоже. Синие мундиры оставались в том же расстоянии, убегая от него назад к своим траншеям, но под ногами попадались раненые и убитые. Добежав уже до внешнего рва, все смешались в глазах Козельцова, и он почувствовал боль в груди и, сев на банкет, с огромным наслаждением увидел в амбразуру, как толпы синих мундиров в беспорядке бежа-

ли к своим траншеям и как по всему полю лежали убитые и ползали раненые в красных штанах и синих мундирах.

Через полчаса он лежал на носилках, около Николаевской казармы, и знал, что он ранен, но боли почти не чувствовал; ему хотелось только напиться чего-нибудь холодного и лечь попокойнее.

Маленький, толстый, с большими черными бакенбардами доктор подошел к нему и расстегнул шинель. Козельцов через подбородок смотрел на то, что делает доктор с его раной, и на лицо доктора, но боли никакой не чувствовал. Доктор закрыл рану рубашкой, отер пальцы о полы пальто и молча, не глядя на раненого, отошел к другому. Козельцов бессознательно следил глазами за тем, что делалось перед ним. Вспомнив то, что было на пятом бастионе, он с чрезвычайно отрадным чувством самодовольства подумал, что он хорошо исполнил свой долг, что в первый раз за всю свою службу он поступил так хорошо, как только можно было, и ни в чем не может упрекнуть себя. Доктор, перевязывая другого раненого офицера, сказал что-то, указывая на Козельцова священнику с большой рыжей бородой, с крестом стоявшему тут.

– Что, я умру? – спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.

Священник, не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому.

Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

– Что, выбиты французы везде? – спросил он у священника.

– Везде победа за нами осталась, – отвечал священник, говоривший на о, скрывая от раненого, чтобы не огорчить его, то, что на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя.

– Слава богу, слава богу, – проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам, и испытывая невыразимый восторг сознания того, что он сделал геройское дело.

Мысль о брате мелькнула на мгновение в его голове. «Дай бог ему такого же счастья», – подумал он.

Но не такая участь ожидала Володю. Он слушал сказку, которую рассказывал ему Васин, когда закричали: «Французы идут!» Кровь прилила мгновенно к сердцу Володи, и он почувствовал, как похолодели и побледнели его щеки. С секунду он оставался недвижим; но, взглянув кругом, он увидел, что солдаты довольно спокойно застегивали шинели и вылезали один за другим; один даже – кажется, Мельников – шутливо сказал:

– Выходи с хлебом-солью, ребята!

Володя вместе с Влангой, который ни на шаг не отставал от него, вылез из блиндажа и побежал на батарею. Артиллерийской стрельбы ни с той, ни с другой стороны совершенно не было. Не столько вид спокойствия солдат, сколько жалкой, нескрываемой трусости юнкера возбудил его. «Неужели я могу быть похож на него?» – подумал он и весело подбежал к брустверу, около которого стояли его мортирки. Ему ясно видно было, как французы бежали к бастиону по чистому полю и как толпы их с блестящими на солнце штыками шевелились в ближайших траншеях. Один, маленький, широкоплечий, в зуавском мундире, с шпагой в руке, бежал впереди и перепрыгивал через ямы. «Стрелять картечью!» – крикнул Володя, сбегая с банкета; но уже солдаты распорядились без него, и металлический звук выпущенной карте-

чи просвистел над его головой, сначала из одной, потом из другой мортиры. «Первое! второе!» – командовал Володя, перебегая в дыму от одной мортиры к другой и совершенно забыв об опасности. Сбоку слышалась близкая трескотня ружей нашего прикрытия и суетливые крики.

Вдруг поразительный крик отчаяния, повторенный несколькими голосами, послышался слева: «Обходят! Обходят!» Володя оглянулся на крик. Человек двадцать французов показались сзади. Один из них, с черной бородой, в красной феске, красивый мужчина, был впереди всех, но, добежав шагов на десять до батареи, остановился и выстрелил и потом снова побежал вперед. С секунду Володя стоял как окаменелый и не верил глазам своим. Когда он опомнился и оглянулся, впереди его были на бруствере спине мундиры и даже один, спустившись, заклепывал пушку. Кругом него, кроме Мельникова, убитого пулей подле него, и Вланга, схватившего вдруг в руку хандшпуг и с яростным выражением лица и опущенными зрачками бросившегося вперед, никого не было. «За мной, Владимир Семеныч! За мной! Пропали!» – кричал отчаянный голос Вланга, хандшпугом махавшего на французов, зашедших сзади. Яростная фигура юнкера озадачила их. Одного, переднего, он ударил по голове, другие невольно приостановились, и Вланг, продолжая оглядываться и отчаянно кричать: «За мной, Владимир Семеныч! Что вы стоите! Бегите!» – подбежал к траншее, в которой лежала наша пехота, стреляя по французам. Вско-

чивши в траншею, он снова высунулся из нее, чтобы посмотреть, что делает его обожаемый прапорщик. Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя, и все это пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших.

Вланг нашел свою батарею на второй оборонительной линии. Из числа двадцати солдат, бывших на мортирной батарее, спаслось только восемь.

В девятом часу вечера Вланг с батареей на пароходе, наполненном солдатами, пушками, лошадьми и ранеными, переправлялся на Северную. Выстрелов нигде не было. Звезды, так же как и прошлую ночь, ярко блестели на небе; но сильный ветер колыхал море. На первом и втором бастионе вспыхивали по земле молнии; взрывы потрясали воздух и освещали вокруг себя какие-то черные странные предметы и камни, взлетавшие на воздух. Что-то горело около доков, и красное пламя отражалось в воде. Мост, наполненный паром, освещался огнем с Николаевской батареи. Большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыске Александровской батареи и освещало низ облака дыма, стоявшего над ним, и те же, как и вчера, спокойные, дерзкие огни блестели в море на далеком неприятельском флоте. Свежий ветер колыхал бухту. При свете зарева пожаров видны были мачты наших утопающих кораблей, которые медленно, глубже и глубже уходили в воду. Говору не слышно было на палубе; из-за равномерного звука разрезаемых волн и пара слышно было, как лошади фыркали и топали ногами на шаланде, слышны были командные слова капитана и стоны раненых.

Вланг, не евший целый день, достал кусок хлеба из кармана и начал жевать, но вдруг, вспомнив о Володе, заплакал так громко, что солдаты, бывшие подле него, услышали.

– Вишь, сам хлеб ест, а сам плачет, Вланга-то наш, – сказал Васин.

– Чудно! – сказал другой.

– Вишь, и наши казармы позажгли, – продолжал он, вздыхая, – и сколько там нашего брата пропало; а ни за что французу досталось!

– По крайности, сами живые вышли, и то слава ти господи, – сказал Васин.

– А все обидно!

– Да что обидно-то? Разве он тут разгуляется? Как же! Гляди, наши опять отберут. Уж сколько б нашего брата ни пропало, а, как бог свят, велит амператор – и отберут! Разве наши так оставят ему? Как же! На вот тебе голые стоны, а танцы-то все повзорвали. Небось свой значок на кургане поставил, а в город не суется. Погоди, еще расчет будет с тобой настоящий – дай срок, – заключил он, обращаясь к французам.

– Известно, будет! – сказал другой с убеждением.

По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенной энергической жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью одних за другими умирающих героев и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов, на се-

вастопольских бастионах уже нигде никого не было. Все было мертво, дико, ужасно — но не тихо: все еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами, обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей, и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Все это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух.

Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и молча, не шевелясь, с трепетом ожидали конца мрачной ночи.

Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, — от места, всего облитого его кровью; от места, одиннадцать месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которое теперь ведено было оставить без боя.

Непонятно тяжело было для каждого русского первое

впечатление этого приказанья. Второе чувство было страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как только оставили те места, на которых привыкли драться, и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаньями, плакали и умоляли жители и денщики с клажею, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, лежащего между пятастями такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, шестнадцать лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью

товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и, бойко гребя, на баркасах отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.

27 декабря. Петербург.

Примечания

[1] Последняя станция к Севастополю. (Прим. Л. Н. Толстого.).

[2] Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата Москва или еще присяга. (Прим. Л. Н. Толстого.).